

Tatiana Rybalczenko

Tomski Uniwersytet Państwowy (Rosja)

## Поэтическая антроподицея Леонида Мартынова

Поэзия Л. Мартынова (1905–1980) заняла в сегодняшней историко-литературной ситуации место периферийного и пройденного художественного явления, отразившего утопизм национального сознания ранней советской эпохи. Л. Аннинский вписывает мироощущение поэта в поколенческое сознание родившихся в начале XX века: „Мечта о небывалом – мета поколения, [...] чувство небывалой солидарности со всем человечеством «земшарным», [...] и, как реакция «на фантастическую по непоэтичности реальность», создание поэтической картины вселенной»<sup>1</sup>.

Вселенная Мартынова негармонична, стихийна, что близко архаической картине мира, однако эволюционна, преодолевает природную цикличность усилиями человека, созидающего вторую природу. Представление о развивающейся и совершенствующейся духовно-материальной природе сближает Мартынова с русскими космистами начала XX века, философами-позитивистами: Н. Умовым, К. Циолковским, В. Вернадским, Н. Холодным, А. Чижевским. Их идеи, вероятно, были знакомы Мартынову, чьё сознание формировалось в среде технической интеллигенции. В автобиографической книге *Воздушные фрегаты* в ряду книг, определивших космическое и эволюционное измерение мира, Мартынов называет наряду с Евангелием, Кораном и Талмудом книги Д. Милля и Л. Фейербаха, А. Смита и К. Маркса, П. Прудона и Ш. Фурье, но особенно выделяет книгу Ч.Г. Хинтона *Четвёртое измерение и эра новой мысли...*, с которой поэтом начала осознаваться „метагеометрия” мира и прогноз, что „среди человечества быстро образуется новая раса, раса людей космической эры”<sup>2</sup>.

Интерес к космическим идеям рождает понимание сущности и назначения человека в бытии. Мартыновскую концепцию человека можно назвать антропологической: человек есть форма самосознания вселенной, инструмент космической эволюции, преобразователь неорганического и органического

<sup>1</sup> Л. Аннинский, *Леонид Мартынов „Непостижимо для ума на свете многое весьма”*, [в:] Л. Аннинский, *Красный век: Сереброи Чернь. Медные трубы, Молодая гвардия*, Москва 2004, с. 382.

<sup>2</sup> Л. Мартынов, *Воздушные фрегаты*, Современник, Москва 1974, с. 78.

мира. Космизм Мартынова отмечен исследователями (Л. Аннинским, Д. Благовым, А. Павловским, И. Роднянской, А. Урбаном) как признак философской поэзии. Нелинейность и универсальность поэтического мышления Мартынова определяют его поэтику „сдвигологии”, по выражению М. Штерн и Ю. Зародова (Штерн, Зародов 1985) или принцип „связи неслучайных совпадений”<sup>3</sup>. Слов „космизм” и „ноосфера” в поэзии Мартынова нет, возможно потому, что философия космизма в 1930–1940-е годы потеснилась марксистской социальной философией.

Новое приближение Мартынова к космическому масштабу, скорректированное экологическими и экофилософскими идеями, возникло в конце 1950–1970-х годов и вызвано научно-технической революцией, подтвердившей предвидения космистов о вторжении науки и техники в природу, об изменении самой материи (атомная и ядерная физика, молекулярная химия, генетика). Однако первые последствия научно-технической революции откорректировали аксиологию прогресса, обнаружив ограниченность человеческого разума, непредсказуемость результатов вмешательства человека в саморазвитие природы. Зрелый Мартынов соединил утверждение разумного человека-преобразователя и сомнения в возможностях человеческого разума и созидания.

Тем более важно в XXI веке вернуться к идеям Мартынова в истолковании роли человека во вселенной. Масштабы детерминированности индивида – вселенская энергия – в зрелой поэзии Мартынова сближают поэтическую картину мира с современной синергетической моделью мироздания<sup>4</sup>, доказывающей нелинейное саморазвитие систем. А ноосферная модель развития культуры корректируется экософской, в которой человек смещается из центра и цели бытия к положению элемента целого. „Экософия”<sup>5</sup> обосновывает биологическую и космическую детерминированность человека, „ризомность”, децентрированность бытия. Мартынов предвосхитил в поэзии 1950–1960-х годов экософское сознание конца XX века. Остаётся антропология Мартынова, предполагающая человека созданием и соучастником вселенского движения, инструментом самопознания бытия, хотя зрелый Мартынов обнаруживает трагизм существования человека: ограниченность понимания бытия и невозможность гармонизации природы и социума. Это дает основание называть его поэзию антроподицеей – оправданием человека.

<sup>3</sup> И. Шайтанов, *Связь неслучайных совпадений*, [в:] И. Шайтанов, *Дело вкуса. Книга о современной поэзии*, Время, Москва 2007, с. 167–180.

<sup>4</sup> И. Пригожин, *От существующего к возникающему*, УРСС, Москва 2002.

<sup>5</sup> Ж. Делёз, Ф. Гваттари, *От хаоса к мозгу*, [в:] Ж. Делёз, Ф. Гваттари, *Что такое философия?*, Алетейя, Москва 1998, с. 256–279.

Понимание места человека в природно-космическом бытии у Мартынова определились не только кругом чтения, но и личным ощущением своего места рождения как пограничное и в природном, и в социокультурном смысле: сибирский город Омск создан на границе цивилизаций: юга и севера, пустынь и тайги, Европы и Азии, бесконечной Сибири за Уралом. Лирический герой ранней поэзии устремлён к европейской цивилизации:

Я шел по лысынам и спинам горным  
В мою Европу прямо на закат  
И звёзды в небе азиатски-чёрном  
Мерцали...

(Сонет, 1923)<sup>6</sup>

Пространство вокруг – это „долина голодных смертей” (*Алла*, 1921); пространство кочевников (Казахстан) либо крестьян-переселенцев: „От смрада в избах прокисает пища. Будь проклят тот сентиментальный лжец, / Что воспевал крестьянское жилище” (*Наш путь в тайгу...*, 1925)<sup>7</sup>. В сознание начинающего поэта входит понимание онтологической миссии цивилизации – выживание человека в природной стихии. Лирический субъект устремлён от бытовой или социальной среды в планетарную, вселенскую. Образ Сибири у Мартынова соединяет черты реального географического локуса и бытийного пространства: „драконоподобные зори”, „солончак – пересохшее море” (*Пленный швед*, 1936). Сибирь видится как дно космоса („большие волны нас качали / Над этим миром”). Подлинный мир – небесный, не сакральный, а физический; привлекает его динамичность, в отличие от земной косности и хаотических изменений. Небо – это подвижная материя, направляемая „властной рукой” космоса, тогда как на земле – „улиц сети”, плен засухи и пр. Лирический герой на земле вслушивается в голос бытия вверху, в монолог туч-фрегатов (*Воздушные фрегаты*, 1922). Кроме романтической устремленности к движению, в этом стихотворении выражена идея разума, способного выходить за рамки эмпирического знания, приближаться к знанию неочевидного в небе и на земной поверхности: „карты утверждают, / Что здесь лежит морское дно”<sup>8</sup>. В стихотворении *Море было* не фантазия, а знание, дающее видение реальности в масштабах космического времени, преобразует пустынный пейзаж в процесс космотворения и метаморфоз материи: первостихия воды получает

<sup>6</sup> Л. Мартынов, *Стихотворения и поэмы*, Советский писатель (Библиотека поэта), Ленинград 1986, с. 44.

<sup>7</sup> Ibidem, с. 46.

<sup>8</sup> Ibidem, с. 43.

материальные проявления на земле, воздушная, небесная сфера возникает как свободная, высшая сфера, потенция или, наоборот, результат формотворчества, рождающая из хляби твердь, а человек продолжает формотворение, реализует возможности небесной духовно-материальной сферы:

Море из пластов известняка  
Ухмылялось челюстью акулы.  
Кочевали бедные аулы,  
Соль – их горе. Ветер – их тоска.  
[...]  
Но какой-то дерзкий фантазер  
городу позволил основаться  
Здесь, на дне исчезнувших озер.  
(*Море было*, 1926)<sup>9</sup>

Вода – природная спасительная материя – непрочна в „зное степного края, безветрия и дьявольской суши” (*Балхаш*, 1923), ограничена (чуть отделившись от моря, человек бредёт по песку, изнывая от жажды и зноя). Поэтому лирический герой устремлён не к первоматерии, а к воздушной сфере как духу материи, стремящемуся за границы земной реальности, космос безграничен. Погружение в воду оценивается как поражение, а полет – как преодоление земной детерминированности: „я плавать средоу не умею”.

Полет – выход к невещественному и готовому к развитию, к новым формам, а не повторению прежних форм бытию. Сопротивлением бессмысленной природной цикличности представлен сон подсолнуха – земного растения, ориентирующегося на солнце (*Сон подсолнуха*, 1933). Интенцию природной формы к духовному (сон) останавливает реальность, призыв земли: „Ты куда? Постой”<sup>10</sup>. В стихотворении *Деревья* универсальный символ человека укоре-нённого и устремлённого вверх истолковывается как несвобода, неосуществление своей сущности: деревья используются людьми для конкретных нужд (розги, гробы, кресты, идолы – наказание, учение, погребение, моление), тогда как у человека есть иное предназначение – не исполнение необходимости, а преодоление её:

И сам я горел, чтоб другие согрелись!  
И я топором был под корень подрублен.  
Но не был погублен. Я не был погублен.  
(*Деревья*, 1933)<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibidem, с. 52.

<sup>10</sup> Ibidem, с. 66.

<sup>11</sup> Ibidem, с. 70.

Человек отличен даже от птицы, потому что, неспособный к полёту, свою потребность в полете он реализует созданием механизмов.

В поэзии Мартынова природная материальная среда, хаотическое или циклическое превращение материальных форм в земном пространстве, вписана в космос, безграничное пространство за пределами земли, творящая материю энергия. Предназначение человека именно во вселенском пространстве, а не в земной реальности. Концепция человека-великана связана с выявлением потенциальных возможностей человека. В стихотворении *Слон* (1946) в разных семантических рядах (интимном, эротическом и социальном) величие человека видится не в физических возможностях, не в свободе следования временным желаниям, а осознанном жизнетворящем, созидательном существовании. Хотя современный человек подобен гиганту-слону, который, опустошив бассейн („Нарушив порядок / Небес / И земли”<sup>12</sup>), ищет источник в иссохшей земле.

В человеке-фантазере (в отличие от человека-великана) должна быть не только „смелость” („не бояться... по луже топтать каблуком”), но перспективное сознание, воображая будущее, он способен знать о последствиях своей деятельности. Именно неустремлённость в космическое время и в космическое пространство способно создать „временное” – не просто непрочные, но разрушительные формы: „плодят бациллу, / Лабораторная реторта полна тяжелой водой” (*Март*, 1948)<sup>13</sup>. Человек разумный создал „мертвую воду”, не оживляющую, а умертвляющую: сказочные возможности человека не гармонизируют мир (*Ночные звуки*, 1951). Величие человека связывается не с возможностью вмешательства в космос, а с пониманием потребностей бытия

В стихотворениях 1950-х годов заметно изменение отношения к природе, она утрачивает признаки хаотичности, оставаясь несовершенной (*Зной, Вьюги*), а спасение человека от дисгармонии природы не в архаических способах самосохранения (кутаться в шубы, „как будто бы к жизни вернуться охота”). Необходимость защиты от стихии не оправдывает насилия, это регресс, уподобление животным „от старца енота до самой последней ничтожной зверюги”<sup>14</sup>. Миссия усовершенствовать природный мир не определяет сознание людей, однако рождение нового сознания возможно и из страха перед природными катаклизмами, если страх соединится с заботой о природном космосе, тогда человек приблизится к пониманию космоса как своего дома, к разумной ответственности за него (экософская идея). В таком случае возникнет понимание зависимости от космоса, отличное и от страха и от мифической пассивной

<sup>12</sup> Ibidem, с. 119.

<sup>13</sup> Ibidem, с. 138.

<sup>14</sup> Ibidem, с. 176.

растворённости в мире. Антропология Мартынова находит обоснование природных законах взаимосвязи:

Все живые существа  
 Не столь уже ничтожные частицы  
 В круговороте естества.  
 На нас-то ведь  
 Какое-то влиянье  
 Оказывает даже и Луна...

И это в человеческой натуре – Влиять на все, что окружает нас.  
 (*Забыто суеверие былое*, 1956)<sup>15</sup>

Во многих стихотворениях 1950–1970-х годов утверждение веры в разум человека осложняется акцентом на несовершенстве человека: „возникают солнечные пятна / Отчасти даже по людской вине”. В стихотворении *Шаг* (1957) возникает не образ гиганта-человека, движущего земной шар, а носителя ограниченного действия – шага, который соучаствует в планетарном вращении: за время человеческого шага земля пролетела „не один десяток миль... / Множество каких-то древних стадий, / Русских вёрст, китайских ли”<sup>16</sup>. В отличие от ахматовского „ужаса времени”, Мартынов полагает интенцию движения, устремлённость в будущее залогом мужества и оптимизма даже при знании возможных ошибок.

Прямого проектирования будущего у Мартынова немного, чаще он указывает лишь вектор совершенствования, опирающегося на природную необходимость. На примере освоения Антарктиды, он вскрывает возможность органичных отношений человека и природы, упущенных в истории земной цивилизации. Неизвестный человеку материк представляет начальное состояние космической эволюции, непонятное самой природе назначение. Он ждёт от человека познания, не присвоения, а „освоения”, реализации своих потенциалов. Природа побуждает человека быть её сознанием, и только после открытия потребностей самой природы – стать действующей силой. Может ли человек понять, „что таят / Ледяные пласты?”. Природный феномен может таить новые варианты жизни, отличные от известных цивилизации:

Ни господ,  
 Ни рабов,  
 Ни царей,

<sup>15</sup> Ibidem, с. 138.

<sup>16</sup> Ibidem, с. 211.

Ни республик, ни древних империй,  
Никаких базилик, алтарей,  
Стародавних легенд и поверий,  
Адских мук и блаженства в раю.  
(*Антарктида*, 1956)<sup>17</sup>

Традиционное противопоставление природы и культуры в стихотворении перевернуто: разные культуры (веры, знания) в свершившейся истории Земли разделяют, обосновывая неравенство; „стародавние” мифы, упование на божества, останавливают людей от участия в развитии бытия. Открытый материк поможет понять условность исторических ценностей, а также ложность принятого в человеческой культуре пользования природой вместо её развития. Мартынов обыгрывает частный примеру современного „присвоения” Антарктиды: убитые киты используются для получения косметических средств (украшение человека вместо совершенствования человека и природы). Открытие Антарктиды могло бы подтолкнуть людей к культуре, ориентирующейся на природу:

[...] а вдруг обретет бытие  
Тот, кого убивать и не будем, –  
Антикит, ...Антихищники...

Мартынов ссылается на идею Фурье, по которой эволюция природного мира приведёт к совершенствованию природных существ и хищники перестанут быть хищниками. Потенции природы могут подтолкнуть человека способ преобразования Антактиды, всей вселенной: „отеплить вековечную внешнюю стужу”.

В поэзии 1950-х годов возникает внимание к гармоническим проявлениям земной реальности, элементы пейзажной лирики в натурфилософской поэтике миромоделирования: изображение моментов гармонии в природе без наукообразности (*Дрёма луговая*, 1956; *Рай*, 1957; *Небо и земля*, 1959; *Солнце*, 1960). Редукция образа человека-деятеля в стихотворениях второй половины XX века компенсируется обращением к сознанию человека: интуиция и разум оцениваются как более важные для связи человека с бытием.

Постижения мироздания и закрепление знания бытия в слове определяют сюжет стихотворения *Над философским словарем* (1962): вселенная сама постигает себя, глядяваясь в то, что понял в ней человек и зафиксировал в слове:

<sup>17</sup> Ibidem, с. 200.

„Вселенная со мной склонилась / Над философским словарем”<sup>18</sup>. Возможности вселенной познать саму себя в этом стихотворении связываются с границами человеческой жизни: „я безгранична, но конечна”, потому что её познающий субъект (человек) человек и ограничен, так как помещён природой в земной мир. Статичный „приморский фонарь” и луна, отражающаяся и дробящаяся в морских волнах, – это полюса видимого и устойчивого (заклѳоченного в словарь) знания и зыбкого природного самоотражения, самопознания, более объемного, но не сфокусированного видения. Очевидная аллюзия на фонарь Диогена констатирует несовпадение человеческого и природного знания (света): самоуверенность разума человека интуитивно корректируется видимой изменчивостью мира (моря), которая доступна зыбкому лунному свету. В стихотворении можно прочесть и метафору человеческого сознания, находящегося на границе устойчивого и изменчивого (морской берег), локального и необозримого: свет разума человека освещает окружающую реальность, но человек устремлѳен к свету луны, к небесному своду, за которым невидимый космос.

Тем не менее, вслушивание в эмпирически воспринимаемую природу реализует интенцию человека к космосу, как и природа выражает зов космоса к человеку:

Слышу я  
 Природы голос,  
 Порывающийся крикнуть,  
 Как и с кем она боролась,  
 Чтоб из хаоса возникнуть,  
 Может быть, и не во имя  
 Обязательно нас с вами,  
 Но чтоб стали мы живыми,  
 Мыслящими существами...  
 (*Голос природы*, 1965)<sup>19</sup>

Вслушивание в природу нужно, чтобы понять предостережение природы человеку-преобразователю: „в вашей власти, / Чтобы всё не расколось / На бессмысленные части!”.

Мартынов говорит в поэзии 1960-х годов о родстве со всеми земными тварями:

<sup>18</sup> Ibidem, с. 252.

<sup>19</sup> Ibidem, с. 308.



[...] слеплены из одного мы теста...  
И мысль, что разум есть и у зверья,  
Не вызывает у меня протеста.  
(*Был дождь как дождь...*, 1964)<sup>20</sup>

Часта и мысль, что сделанный человеком мир узок, а стихия природного мира более разнообразна и потенциальна. В стихотворении *Силуэты пней* корни и пни на берегах водохранилища, созданного человеком, похожи на побеждённых чудищ, напоминают о первоначальном хаосе, но тот хаос был жизнетворящим, а оставленные без вершин деревья стали знаками прерванной жизни. Они похожи на чертей („в сучковатых чертовых рогах”), вызывая сомнение в ценности сотворённого людьми пространства. Мартынов предъявляет разумному человеку ответственность за редукцию жизни, а природная первостихия предстает как непревзойденная потенция природы. Даже искажённые человеком формы природы более потенциальны, чем созданные человеком, а высшее искусство – не переделывать, а извлекать из природы потенциальную форму: „Сказал бы даже Эрзя<sup>21</sup>, что нельзя / Использовать их боле мастерски” (*Силуэты пней*, 1965)<sup>22</sup>.

И всё же Мартынов не перестаёт видеть в человеке сотворца природы: мир в результате человеческой истории утратил первородство, не просто наполнен новыми формами, но изменил свою материальную основу: „Обновлены / От бездн и до вершин / И вкус его, и запах, и окраска...” (*Мир, тот, которым мы владеем...*, 1962)<sup>23</sup>. Глагол *владеем* свидетельствует о сохранении главенства антропологического в онтологии, но превосходство человека корректируется пониманием противоречивости „второй” природы. Человек создал и благо, и зло: в нем „мед, и пот, и яд сочатся”. „Великое могущество идей” все же несравнимо с бесконечным разнообразием форм и материи в космосе. Сознание человека обречено на вечное открытие пространств (звезд, галактик) и форм жизни (*Мир не до конца досоздан...*, 1965). Идея расширяющейся вселенной А.А. Фридмана (которая послужила толчком для создания стихотворения) соответствовала космологической модели самого Мартынова.

В природе обнаруживается связь природных и космических явлений, не совпадающая с человеческими целями и логикой. В стихотворении *Идиллия* (1966) эротический сюжет стремления к обладанию, к доступности мира

<sup>20</sup> Ibidem, с. 276.

<sup>21</sup> Степан Эрзя (Нефёдов) (1876–1959) – российский ваятель, мастер скульптуры из дерева в стиле модерн.

<sup>22</sup> Ibidem, с. 305.

<sup>23</sup> Ibidem, с. 252.

нарушается открытием невязанной связи феноменов бытия, различий в целях и ценностях малого и большого миров. Дождь (природное ненастье) омыл куст дикого шиповника, и эльф, прикоснувшись к цветку после дождя, не достиг нектара, не получил обладания и наслаждения, но сбросил с цветка каплю – „груз слез” („чего их беречь!”). Большой мир редуцирует желания эльфа, эфемерного существа, но не совпадают и интенции разных малых явлений, то, что одного тревожит, другого умиротворяет (цветок воспринимает дождь как благо, в отличие от эльфа). Свобода проявления элементов целого, непредсказуемость процессов побуждает к принятию такого мироустройства. Поиск гармонии (идиллии) трактуется не как цель деятельности, а как удовлетворенности моментом, игра, а не построение идиллии:

Давай поиграем:  
Я буду эльфом, а ты цветущим шиповником  
Над божьим коровником.<sup>24</sup>

Антиномичность бытия, негармонизируемость вселенной определяет рефлексию лирического субъекта в стихотворениях 1960-х (*Чет и нечет, Драгоценный камень, Ошибка Гершеля*) и 1970-х годов (*Элегия, Турбулентность*):

Это жизнь!  
И не ее вина,  
Что ни в камне, ни в огне, ни в глине,  
Ни в воде, ни в берегах морских,  
И ни в судьбах птичьих и людских,  
И ни в гноме, и ни в исполине  
Мы прямых не обнаружим линий...  
(*Турбулентность*, 1976)<sup>25</sup>

При сохранении космического масштаба бытия редуцируются право на исправление мироздания человеком, осознается ограниченность разума в познании бытия, принимается сосуществование антиномичных феноменов. Антропология Мартынова становится не героической, а трагедийной. Человек утрачивает положение в центре бытия, но остается особым созданием природы, призванным познавать бытие, раскрывать его потенции, а не переделывать.

Переосмысление бытия изменило отношение Мартынова к цивилизации, привело к акцентированию опасных для природы и человека последствий, к пониманию, что несоответствие природе демиургических проектов

<sup>24</sup> Ibidem, с. 316.

<sup>25</sup> Ibidem, с. 437.

осознаются только после разрушительных последствий. Становится очевидным, что природный космос должен стать критерием для человеческого разума, побудить к коррекции целей. В стихотворении *Вода* ставится под сомнение ценность усовершенствованной материи: очищенная для защиты человека от болезнетворных частей вода, лишившись полноты свойств, невкусна и не жизнотворна:

Ей  
Не хватало  
Ивы, тала  
И горечи цветущих лоз.  
Ей  
водорослей не хватало  
И рыбы, жирной от стрекоз.  
Ей  
Не хватало быть волнистой,  
Ей не хватало течь везде.  
Ей жизни не хватало –  
Чистой,  
Дистиллированной  
Воде!

(*Вода*, 1946)<sup>26</sup>

В поэзии сохраняется представление о значимости человека в бытии: „Винювники великих потрясений / И их творцы не кто-нибудь – а мы!” (*Как это случилось, в самом деле?*, 1956)<sup>27</sup>. Научно-техническая революция оставалась питательной почвой для сохранения у Мартынова представлений о космизирующей миссии человека в бытии: „Ведь мы, природы недопокорив, / От дела не откажемся устало...” (*Да, многое исчезло без следов...*, 1955)<sup>28</sup>. Даже осознание разрушительных последствий человеческой цивилизации не снимает уверенности в том, что человек – причина и „виновник” цивилизуемой природы, должен продолжать осуществлять свою бытийную миссию. Претензии к земной цивилизации побуждают поэта обращаться к связи божественного творения и человеческой цивилизации. В стихотворении 1960 года *Тоху-во-боху* (с др.-евр. „предвечное Пространство”, первоначальный хаос) возникает два уровня оценки. Во-первых, сам Бог-творец дает оценку бытия как до Творения, так и после. Выражение „тоху во боху” употреблено во втором

<sup>26</sup> Ibidem, с. 122.

<sup>27</sup> Ibidem, с. 193.

<sup>28</sup> Ibidem, с. 177.

стихе *Бытия* после „вначале сотворил Бог небо и землю”. Бог трактуется как причина космогенеза, как организации предшествовавшего Творению хаоса, но Творение „предвечно”, то есть неокончательно. Такое понимание бытия, опирающееся на библейский текст, должно обосновать сюжет грехопадения как неудовлетворенность человека Творением, но и как данное Богом человеку право достраивать земной мир. Возможности человека ограничены землёй, но и созданный Богом мир не абсолютно совершенен, а устремлён к гармонии.

Другая оценка бытия и миссии человека в стихотворении дана Ноем, человеку, спасшему человеческий род. Стихотворение построено как обращение Ноя к людям, бросившимся „интервьюировать” спасенного Богом человека, дабы узнать способ спасения в новом потопе, проявлением природной стихии, до конца не покорённой современной цивилизацией. Монолог Ноя становится инвективой, обращенной к людям, не извлекшим уроков из библейского сюжета наказания, не создавшим спасительный ковчег:

Вы, стремящиеся завершить то, что господу богу  
Не вполне удалось,  
Почему же...  
У себя на земле допускаете старобиблейское тоху-во-боху?<sup>29</sup>

Достижения современной цивилизации – вознесение в космос, освоение Луны, власть над материей, разъятой в циклотронах, оцениваются Ноем как приближение к Богу, как знаки совершенствования человека, но человек допускает повторение хаоса, того, что было до творения.

В стихотворениях 1960-х годов цивилизация трактуется как способ спасения природы и человеческого рода (*Вознесся в космос человек, Земные блага, Завещание*). Настороженное отношение природы к могущественному человеку-спасителю – результат нарушений онтологической миссии человеком-пользователем. В стихотворении *Лисёнок* взгляд природы (лисенка) на человеческий мир рождён опытом насилия человека над природой:

[...] должно быть, мать в норе, в лесном жильё,  
Его учила, мучила, стращала  
Рассказами о модных ателье.

(*Лисенок*, 1970)<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ibidem, с. 228.

<sup>30</sup> Ibidem, с. 318.

Разумный и чуткий к природе человек обладает чувством вины, которое может изменить и его отношение к природе, и отношение природы к нему. Своё предназначение человек не привносит в природу, а выносит из чуткого вслушивания в „зов бытия”. В стихотворении *Царь природы* природа оценивает могущество человека и напоминает о миссии, забытой человеком в уличной толпе („Прошу оставить / Меня в покое”). Лирический субъект интерпретирует послание человеку молчащего звездного света:

Звезды вдруг зажглись,  
Как будто путь мне озаряя  
И благосклонно повторяя:  
– Ты – царь природы! Убедись!  
(*Царь природы*, 1945)<sup>31</sup>

Призыв природы, однако, рождает не уверенность, а сомнения: „Высок удел мой иль плачевен?”. Нести бытийную ношу побуждает не жажда владения, а вина за то, что до сих пор человечество не созидает, а берет у природы „ясак, оброк – как звать не знаю эту дань”.

В форме философской рефлексии подобное переживание вины, осложняющей мессианские интенции человека, выражено в стихотворении *В эту душную ночь...*, где беседа с богом превращается не в богоборческие претензии и не в мольбу человека к высшей силе, а в воззвание Бога к человеку. Творец доказывает человеку данную ему возможность быть сотворцом в несовершенном земном мире:

Хоть известны мне многие муки твои.  
Ведь подумай: ходил по таким ты дорогам,  
По таким ты оврагам бродил и отрогам,  
Где, как кровь, солонина и багряна роса...  
Ты прошел их – вот это и есть чудеса.  
(*В эту душную ночь...*, 1949)<sup>32</sup>

Ценностью человека названа не победа над безднами и пустынями, а путь сквозь скудость и опасность. В стихотворениях 1950–1970-х годов познавательная и деятельная потребность человека декларируется как результат эволюции природы, природное «чувство» преодоления границ известного, расширение мироздания. Антропологическое свойство человека – менять материю, менять

<sup>31</sup> Ibidem, с. 108.

<sup>32</sup> Ibidem, с. 145.

себя, формируя в себе седьмое чувство – предвидение, замысел, который человек устремляется реализовывать: „Тоньше и тоньше становятся чувства, / Их уж не пять, а шесть” (*Седьмое чувство*, 1952)<sup>33</sup>.

В стихотворении *Дедал* (1955) утверждается неотменимая интенция человека выходить за пределы физических границ, данных природой. Не молодой фантазер, а седой, обремененный трагическим опытом потерь созидатель („на архитектора похож”), создатель лабиринта – безысходного пространства на земле – устремлен в небо. „Крылатый архитектор” расплачивается за выход из земного лабиринта жизнью сына, которому передалось стремление отца разорвать предопределенность. После гибели сына Дедал возвращается вниз, к людям, которые шагают по своим делам и по чужим телам, не сочувствуя павшим и не стремясь к полёту. Земной мир указывает на вину отца: и черви, и птицы, и волны призывают оберегать сыновей. Однако Дедал снова устремляется вверх, вина за гибель сына не сдерживает проявление космической сущности человека.

Право на преодоление этических границ во имя бытийной миссии утверждается в стихотворении *Будьте любезны*. Любовь к земному („любезность”) трактуется как оковы, сдерживающие развитие жизни, редуцирующие „заботу о бытии”. Мартынов обыгрывает созвучие антонимов „любезны” и „железны”. Железные крыши (знак цивилизации) защищают от природной стихии и отделяют людей от неба, от бытия. Но деревянный конек над крышей можно интерпретировать как *органическую* потребность человека в незамкнутом небесном пространстве: „Быть деревянным коньком над строеньем”. Порыв ввысь „любезен” человеку, потому что рождён природной интенцией к космосу. Последствия преодоления границ могут быть различны: уподобиться разрушительному ветру или разгонять тучи в земном пространстве, выйти на околоземную или гелиоцентрическую орбиты и встретиться с неизвестным, но сущность человека – страдать от нереализованности предназначения:

Это  
Почти неподвижности мука —  
Мчатся куда-то со скоростью звука,  
Зная прекрасно, что есть уже где-то  
Некто,  
Летающий  
Со скоростью  
Света!

(*Будьте любезны*, 1957)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Ibidem, с. 160.

<sup>34</sup> Ibidem, с. 190.

Потребность человека в преодолении границ Мартыновым трактуется не как экзистенциальный бунт, а как заложенная космосом потребность. В стихотворении *Рождение дня* (1975) утверждается способность человека воспринимать не только „шёпот дубрав” или „аромат роз”, но и „шепот звезд, и рев могучего светила, / Рождающего день без повитух”<sup>35</sup>. Однако в зрелой лирике акцент поставлен на несовершенстве человека, боящегося следовать природно-космической сущности либо осознающего ограниченность своих сил и знаний. „Мильоны книг” не дают знания, „когда и как весь этот мир возник”, поэтому нужна интуиция, природное чувство, чтобы проникнуть в тайны бытия, „куда ракетам и не взвиться”:

И кажется, что в тайну я проник.  
Но дальше что?  
И снова лишь догадки,  
И вновь  
Луна  
Чадит мне, как ночник,  
И бездна вновь со мной играет в прятки.  
(*Прятки*, 1957)<sup>36</sup>

О границах познания, о мнимости знания, об изменчивости представлений о мире Мартынов размышляет в стихотворениях *Небесный купол* (1962), *Оборотная сторона* (1964), *Видимое и невидимое* (1964), *Две тени* (1970), *Закат* (1964).

Стихотворение *Башкирская пещера* (1964), возможно, – это рефлексия мифа Платона о пещере (*Государство*), где утверждается, что сознание воспринимает лишь тени на стене пещеры, отбрасываемые освещёнными движущимися телами за пределами пещеры. Сюжет основывается на интерпретации исторического факта: во времена Елисаветы ученые исследовали капову пещеру в Башкирии (Шульган-Таш) и не заметили петроглифов, потому что фонари давали слабый свет. В XX веке открылся мир, запечатленный древним человеком, „кроманьонцем”, мир чудовищных „тварей, и птиц, и зверей”:

О, эти копыта и хоботы, гривы и крылья –  
Весь мир первобытный ужасный, опасный, прекрасный...

<sup>35</sup> Ibidem, с. 436.

<sup>36</sup> Ibidem, с. 338.

Страшущий образ мира у древнего человека был сокрыт рационалистической культурой Нового времени, XVIII век уповал на понятую реальность, что давало иллюзию возможности ее совершенствования. Современность вновь обнаружила негармоничность, нестатичность и неиерархичность мироустройства. Рефлексия лирического субъекта направлена на поиск причины, почему сложное видение мира было скрыто цивилизацией:

[...] А может быть, страхи, поверья  
Мешали проникнуть нам в эти чертоги?

Ограниченное понимание мира человеком дает иллюзию разрешимости противоречий:

И так повелось в этом мире, что часто веками  
Не можем мы тронуть того, что у нас под руками.<sup>37</sup>

В стихотворении *Келья летописца* (1969) воссоздана коллизия самоограничения человека в познании мира. Летописец отказывается от писания, после того как постиг страшное знание о жизни, способное отнять саму потребность в деянии. Он отказывается от исполнения обязанностей, ссылаясь на слепоту, но после советов „лампочку вверни поярче” или „взять свечу или лампаду”, признается, что знание, которое при ярком свете станет еще более невыносимым: „яркий свет томит жесточе», «вещи в свете их вдвойне зловещи”. Отказ от неиллюзорной истины, которая открывается в конце жизни, связан с пониманием абсурда существования человека, под сомнение ставится и космическая миссия человека, и эволюционность жизни. Трагизм вызван не краткостью жизни, не позволяющей свершить миссию, но характером бытия, увиденного „в свете двадцать первого столетья”.

В поздней лирике появляется ирония по поводу иллюзий понимания:  
Звезды как лампадки,  
Радуют мой взор, будто все загадки  
Разгадал  
И спор  
Кончен.  
Сны так сладки.  
Только очень кратки  
С некоторых пор.

(С некоторых пор, 1973)<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Ibidem, с. 291.

<sup>38</sup> Ibidem, с. 419.



Ирония связана с пониманием недостижимости идеала познающего и творящего человека, ее нельзя считать отказом Мартынова от антропологической концепции, но она вносит в поэзию неутопический пафос, созвучный и двадцать первому веку. Мартынов остается поэтом, открытым хаосу и абсурду бытия. В искусстве зрелый Мартынов ценит прогностическую миссию как предупреждающую. Например, в живописи Айвазовского он ценит то, что художник фиксирует не красоты моря, а кораблекрушения:

Это не корабль, а мироздание  
Рушится на жестком полотне.  
И незавершенное создание:  
„Берегись!” – напоминает мне.  
(*Взрыв*, 1962)<sup>39</sup>

Образец художника для Мартынова – Босх, не страшившийся заглянуть в бездну бытия и потому ставший провидцем. На его полотнах бытие видится неизменно негармоничным, страшным, ставится под сомнение идея эволюции и прогресса. Правда Босха доказывается тем, что на его полотнах узнается и современная реальность:

[...] в бесноватом, узловатом, хлестком  
И жестком, несмотря на внешний лоск,  
Реальном мире, что от слез промозг,  
[...] где мор, где глад, где города горят,  
Где счет потерян трупам распростертым,  
И любомудрие летит в костер...  
(*Виденья Босха*, 1965)<sup>40</sup>

Художник должен преодолеть иллюзии, не основанные на познании бытия. Таким мужеством обладал Босх, страдавший от собственной правды, потрясенный, что его картины оказались пророческими в XX веке:

[...] но за каким же чертом  
Стал явью этот, лет пятьсот назад  
Мне, Босху, померещившийся ад?

Тем не менее, в третьей части триптиха художник отказывается согласиться, что он предугадал неизбежное, был „воском в руках у жизни”. Ответ Босха доказывает антроподицею самого Мартынова: фантазия художника

<sup>39</sup> Ibidem, с. 262.

<sup>40</sup> Ibidem, с. 306.

– лишь предостережения о возможности катастрофы в развитии жизни. Разум человечества („мозг человечества”) включает заботу создателя о бытии и потому способен предотвратить превращение жизни в „натюрморт”, в земной ад вместо земного рая.

Поэзия Мартынова остается поэзией истолкования человека как создания материально-духовной вселенной, инструмента развития бытия. Необходимость человеку быть хозяином в доме-мире даёт поэту право на оправдание человека, на антроподицею.

### Библиография

- Anninskij L., Leonid Martynov „Nepostižimo dláuma na svete mnogoe ves'ma”, [v:] L. Anninskij, Krasnyj vek: Srebro i Čern'. Mednye truby, Molodaâ gvardiâ, Moskva 2004, s. 379–396 [Аннинский Л., Леонид Мартынов „Непостижимо для ума на свете многое весьма”, [в:] Л. Аннинский, Красный век: Серебро и Чернь. Медные трубы, Молодая гвардия, Москва 2004].
- Blagov D., Leonid Martynov, [v:] Istorîâ russoj sovetskôj poëzii: 1941–1980, Nauka, Leningrad 1984, s. 367–377 [Благов Д., Леонид Мартынов, [в:] История русской советской поэзии: 1941–1980, Наука, Ленинград 1984].
- Delêz Ž., Gvattari F., Ot haosa k mozgu, [v:] Ž. Delêz, F. Gvattari, Čto takoe filozofiâ?, Aletejâ, Moskva 1998, s. 256–279. [Делёз Ж., Гваттари Ф., От хаоса к мозгу, [в:] Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Что такое философия?, Алетейя, Москва 1998].
- Makedonov A., Čuvstvo Vselennoj i čuvstvo Zemli, [v:] Geroj sovremennoj literatury, Hudožestvennaâ literatura, Moskva 1963, s. 180–199 [Македонов А., Чувство Вселенной и чувство Земли, [в:] Герой современной литературы, Художественная литература, Москва 1963].
- Martynov L., Vozdušnye fregaty, Sovremennik, Moskva 1974 [Мартынов Л., Воздушные фрегаты, Современник, Москва 1974].
- Martynov L., Stihotvoreniâ i poëmy, Sov. pisatel' (Biblioteka poëta), Leningrad 1986 [Мартынов Л., Стихотворения и поэмы, Советский писатель (Библиотека поэта), Ленинград 1986].
- Pavlovskij A., Filozofskââ lirika: L. Martynov, N. Zabolockij, A. Tvardovskij, [v:] Problemy russoj sovetskôj literatury: 50–70-e gody, Sovetskij pisatel', Leningrad 1976, s. 190–235 [Павловский А., Философская лирика: Л. Мартынов, Н. Заболоцкий, А. Твардовский, [в:] Проблемы русской советской литературы: 50–70-е годы, Советский писатель, Ленинград 1976].
- Prigožin I., Ot sušestvujuščego k vznikajuščemu, URSS, Moskva 2002 [Пригожин И., От существующего к возникающему, УРСС, Москва 2002].
- Rodnânskaâ I., Martynov, [v:] Kratkaâ sovetskââ ènciklopediâ, Sovetskââ ènciklopediâ, t. 4, Moskva 1967, s. 669 [Роднянская И., Мартынов, [в:] Краткая советская энциклопедия, Советская энциклопедия, т. 4, Москва 1967].
- Urban A., „Èpoh soprikasatel'”. Leonid Martynov, [v:] A. Urban, V nastoâšem vremeni, Sovetskij pisatel', Leningrad 1984, s. 210–253 [Урбан А., „Эпох соприкасатель”. Леонид Мартынов, [в:] А. Урбан, В настоящем времени, Советский писатель, Ленинград 1984].
- Šajtanov I., Svâz' neslučajnyh sovpadenij, [v:] I. Šajtanov, Delo vkusa. Kniga o sovremennoj poëzii, Vremâ, Moskva 2007, s. 167–180 [Шайтанов И., Связь неслучайных совпадений, [в:] И. Шайтанов, Дело вкуса. Книга о современной поэзии, Время, Москва 2007].
- Štern M., Zarodov Ū., Poëtičeskââ „sdvigologiiâ” L. Martynova, [v:] Problemy tvorčestva L. Martynova, OGPI, Omsk 1985, s. 82–94 [Штерн М., Зародов Ю., Поэтическая „сдвигология” Л. Мартынова, [в:] Проблемы творчества Л. Мартынова, ОГПИ, Омск 1985].

## Summary

### *The Poetic Anthropodicy of Leonid Martynov*

The article reveals the picture of the world in poetry L. Martynov, to identify the concept of man as a demiurge-generation of evolution of space development as a tool of self-nature. The article accented the originality of the poetic philosophy and its proximity leading natural-philosophical and cultural concepts in the philosophy of the twentieth century: a noosphere idea in the philosophy of Russian cosmists, a sinergetics development model and the ecophilosophy the second half of the twentieth century. It installed here stability and correction of natural philosophy and anthropology of Martynov in his poetry from the 1920s to the 1970s.

**Key words:** L. Martynov, philosophical poetry, cosmism, anthropology, the concept of civilization.

